

Годы решений

Годы решений / Пер. с нем. В. В. Афанасьева; Общая редакция А.В. Михайловского.— М.: СКИМЕНЬ, 2006.— 240 с.— (Серия «В поисках утраченного»).

Введение

Едва ли кто-то так же страстно, как я, ждал свершения национального переворота этого года (1933). Уже с первых дней я ненавидел грязную революцию 1918 года как измену неполноценной части нашего народа по отношению к другой его части – сильной, нерастраченной, воскресшей в 1914 году, которая могла и хотела иметь будущее. Все, что я написал после этого о политике, было направлено против сил, окопавшихся с помощью наших врагов на вершине нашей нищеты и несчастий для того, чтобы лишить нас будущего. Каждая строка должна была способствовать их падению, и я надеюсь, что так оно и произошло. Что-то должно было наступить в какой-либо форме для того, чтобы освободить глубочайшие инстинкты нашей крови от этого давления, если уж нам выпало участвовать в грядущих решениях мировой истории, а не быть лишь ее жертвами. Большая игра мировой политики еще не завершена. Самые высокие ставки еще не сделаны. Для любого живущего народа речь идет о его величии или уничтожении. Но события этого года дают нам надежду на то, что этот вопрос для нас еще не решен, что мы когда-нибудь вновь – как во времена Бисмарка – станем субъектом, а не только объектом истории. Мы живем в титанические десятилетия. Титанические – значит страшные и несчастные. Величие и счастье не пара, и у нас нет выбора. Никто из ныне живущих где-либо в этом мире не станет счастливым, но многие смогут по собственной воле пройти путь своей жизни в величии или ничтожестве. Однако тот, кто ищет только комфорта, не заслуживает права присутствовать при этом. Часто тот, кто действует, видит недалеко. Он движется без осознания подлинной цели. Вероятно, он стал бы сопротивляться, если бы видел ее, ведь логика судьбы никогда не обращает внимания на желания людей. Но гораздо чаще это приводит к помешательству, так как они создают ложную картину окружающего мира. В этом и заключается великая задача знающего историка: понять факты своего времени и, исходя из них, предвидеть, указать, обозначить то будущее, которое наступит независимо от нашего желания. Без творческой, предупреждающей, предостерегающей и сопровождающей критики невозможна эпоха сознания, подобного сегодняшнему.

Я не буду браниться или льстить. Я воздержусь от любой оценки вещей, которые только что начали возникать. Правильно оценить события можно лишь тогда, когда они стали далеким прошлым, а окончательный успех или неудача стали фактами, то есть по истечении десятилетий. Зрелое понимание Наполеона было невозможно до конца прошлого века. О

Бисмарке даже у нас нет окончательного мнения. Прочны только факты, оценки же колеблются и меняются. И, наконец, великие события не нуждаются в оценке современников. История сама вынесет свой приговор, когда уже не останется в живых ни одного из участников событий.

Но это можно сказать с определенностью уже сегодня: национальный переворот 1933 года представлял собой что-то ужасное и останется таковым в глазах будущего из-за той стихийной, надындивидуальной мощи, с которой он совершился, и из-за душевной дисциплины, с которой он был совершен. Он был насквозь прусским, как и прорыв 1914 года, в мгновение ока преобразивший души. С импонирующей уверенностью немецкие мечтатели сделали шаг на пути в будущее. Но именно поэтому участники должны ясно понимать: это была не победа, потому что не было врага. Перед мощью восстания мгновенно исчезло все, что еще оставалось дееспособным или сделанным. Это было обещание будущих побед, которых можно достичь лишь в тяжелой борьбе. Для них сейчас было только подготовлено место. Всю ответственность вожди взяли на себя, и они должны знать или узнать, что это означает. Эта задача полна чудовищных опасностей, и она не внутри Германии, а вне ее, в мире войн и катастроф, где все определяет только большая политика. Германия как никакая другая страна связана с судьбами всех остальных; она как никакая другая не может управляться, взятая сама по себе. И, кроме того, здесь произошла не первая национальная революция – ее предшественниками были Кромвель и Мирабо, – но это первая революция, которая происходит в политически обессиленной стране, находящейся в очень опасном положении: это несравнимо повышает сложность задач.

Сейчас они только поставлены, вряд ли поняты, не решены. Сейчас нет ни времени, ни повода для упоения и триумфа. Горе тем, кто путает мобилизацию с победой! Движение сейчас только началось, еще не достигло цели, и потому великие вопросы времени все те же. Они касаются не только Германии, но всего мира, и это вопросы не только этих лет, но и целого столетия. Опасность воодушевления в том, что положение видится слишком упрощенно. Воодушевление не согласуется с целями, которые выходят за рамки нескольких поколений, но именно с них начинаются действительные исторические решения.

Этот захват власти произошел в вихре силы и слабости. Я с озабоченностью смотрю на то, что его ежедневно прославляют с таким шумом. Было бы правильнее, если бы мы оставили все это для настоящих и решающих, то есть внешнеполитических успехов. Других не существует. Если они однажды будут достигнуты, то люди момента, сделавшие первый шаг, будут, возможно, давно мертвы, возможно, забыты или опозорены, пока кто-нибудь из потомков не вспомнит об их значении. История не терпит сентиментальности, и горе тем, кто воспринимает себя сентиментально!

Любое развитие с таким началом имеет множество возможностей, которые редко до конца осознаются его участниками. Оно может застыть в принципах и теориях, погибнуть в политической, социальной и экономической анархии, безрезультатно вернуться к началу, подобно тому, как в Париже 1793 года отчетливо чувствовалось, что все

изменится. После упоения первых дней, которое часто губит уже следующие возможности, как правило, следует про- трезвление и неуверенность в «следующем шаге». К власти приходят элементы, рассматривающие упоение властью в качестве результата и стремящиеся увековечить состояние, которое возможно лишь на мгновения. Верные мысли доводятся фанатиками до абсурда. То, что сулило стать началом величия, оборачивается трагедией или комедией. Мы хотим заблаговременно и трезво указать на эти опасности, чтобы быть умнее, чем некоторые поколения про- шлого.

И если здесь должен быть заложен прочный фундамент великого будущего, на который смогут опереться грядущие поколения, то нельзя обойтись без помощи старых традиций. Лишь то, что мы имеем в крови от наших отцов – идеи без слов, – есть прочный фундамент великого будущего. Сейчас себя оправдало именно то, что я некогда обозначил как «пруссачество» – важно оно, а не какой-либо вид «социализма». Нам необходимо воспитывать прусскую твердость, подобную той, что была явлена в 1870 и 1914 годах и которая дремлет в глубине нашей души как ее постоянная возможность. Этого можно достичь только живым примером и нравственной самодисциплиной руководящего слоя, а не многословием или при- нуждением. Чтобы служить идее, нужно управлять самим собой, нужно быть готовым к внутренним жертвам по убеждению. Кто путает это с духовным давлением какой-нибудь программы, тот не понимает, о чем здесь идет речь. Тем самым я воз- вращаюсь к книге, где мною в 1919 году было впервые указано на эту нравственную необходимость, без которой ничего не- возможно достичь надолго – «Пруссачество и социализм». Все другие народы мира обрели свой характер благодаря про- шлому. У нас нет воспитывающего прошлого, поэтому вначале мы должны разбудить, раскрыть, воспитать наш характер, который как зародыш находится в нашей крови.

Этой цели посвящена и моя работа, первая часть которой представлена здесь. Я делаю то, что делал всегда: не даю желаемую картину будущего и в еще меньшей мере программу для ее достижения, как это модно у немцев, но излагаю ясную картину фактов, каковы они есть и каковыми будут. Я вижу дальше других. Я вижу не только боль- шие возможности, но и великие опасности, их источник и, быть, может, способы их избежать. И если никто не имеет мужества видеть и говорить то, что он видит, тогда это сделаю я. У меня есть право на критику, потому что с ее по- мощью я Постоянно показывал то, что будет происходить, ибо это должно произойти. Начало решающим деяниям по- ложено. Нельзя вернуть ничего из того, что уже стало фактом. Сейчас мы все должны идти в этом направлении, нра- вится оно нам или нет. Было бы близоруко и трусливо сказать «нет». То, чего не захочет сделать отдельный человек, с ним сделает история.

Но «да» предполагает понимание. Этому должна послужить данная книга. Она должна предостеречь от опас- ностей. А опасности есть всегда. Всякий, кто действует, подвергает себя опасности. Сама жизнь есть опасность. Но тот, кто связал судьбу государств и наций со своей собственной судьбой, тот должен идти навстречу этим опасно-

стям, прямо смотря им в лицо. А для того, чтобы видеть, нужно, быть может, еще большее мужество.

Эта книга возникла из доклада на тему «Германия в опасности», который я прочитал в 1929 году в Гамбурге, не встретив при этом большого понимания. В ноябре 1932 года я приступил к переработке текста, причем положение Германии оставалось неизменным. К 30 января 1933 года было напечатано 106 страниц. Ничего из этого я не изменил, так как пишу не на месяцы и не для следующего года, но для будущего. Что истинно, то не может быть отменено каким-либо событием. Я лишь выбрал другое название, чтобы избежать недоразумений: опасность заключается не в захвате власти национальными силами, опасности возникли уже давно, отчасти после 1918 года, отчасти еще раньше.¹¹¹ Угрожают по-прежнему, так как не могут быть устранены отдельным событием, ведь для их успешного преодоления требуется многолетнее развитие в правильном направлении. Германия в опасности. Моя тревога за Германию не уменьшилась. Мартовская победа" была слишком легкой, чтобы открыть глаза победителям на размеры опасности, ее причины и продолжительность.

Никто не знает, в каких формах, ситуациях и какими личностями будет осуществляться этот переворот, какое внешнее противодействие он вызовет. Всякая революция ухудшает внешнеполитическое положение страны, и для преодоления одного только этого требуются государственные деятели ранга Бисмарка. Быть может, мы уже вплотную подошли ко второй мировой войне с неизвестным разделением сил и непредсказуемыми – военными, экономическими и революционными – средствами и целями. У нас нет времени ограничиваться внутривнутриполитическими проблемами. Мы должны быть «в форме» для любого возможного события. Германия – не остров. Если мы не будем видеть в нашем отношении к миру важнейшую для нас проблему, судьба – и что за судьба! – безжалостно перешагнет через нас.

Германия является решающей страной мира не только ввиду ее расположения на границе с Азией, которая со всемирно-политической точки зрения является сегодня важнейшей частью света, но и ввиду того, что немецкий народ достаточно молод для того, чтобы в себе переживать, формулировать и решать всемирно-исторические проблемы, когда другие народы уже слишком состарились и закалились, чтобы быть способными на нечто большее, чем защиту. Но и в отношении больших проблем лучший путь к победе – нападение.

Я описал это. Окажет ли оно желаемое воздействие?

Мюнхен, июль 1933 г. Освальд Шпенглер

Политический горизонт

Глава 1

Имеет ли сегодня хоть один человек белой расы представление о том, что происходит вокруг на планете? О размере

опасности, которая нависла над всеми белыми народами и угрожает им? Я говорю не об образованной или необразованной толпе наших городов, этих читателей газет, этом стаде животных с избирательными правами, где избиратели и избранники уже давно не отличаются друг от друга по уровню. Речь идет о ведущих слоях белых наций, если таковые еще не совсем уничтожены, о государственных мужах, если таковые еще имеются, о настоящих вождах в политике и экономике, в армии и мысли. Смотрит ли кто-нибудь дальше этих лет, дальше своей части света, своей страны, дальше узкого круга своей деятельности?

Мы живем в трудное время. Наступила величайшая историческая эпоха не только фаустовской культуры Западной Европы с ее чудовищной динамикой, но и всей мировой истории, величественнее и гораздо ужаснее, чем времена Цезаря и Наполеона. Однако как слепы люди, над которыми бушует эта могучая судьба, разбрасывая, возвышая или уничтожая их. Кто из них видит и понимает то, что происходит с ними и вокруг них? Может быть, старый мудрый китаец или индус, погруженный в тысячелетнюю традицию мысли, молча смотрящий вокруг себя? Но как плоско, как узко, как мелко все то, что проявляется в суждениях и делах в Западной Европе и Америке! Кто из жителей Среднего Запада Соединенных Штатов действительно что-то понимает в том, что происходит по другую от Нью-Йорка и Сан-Франциско сторону океана? Какое понятие имеет представитель английского среднего класса о том, что готовится по ту сторону, на континенте, не говоря уже о человеке из французской провинции? Что известно всем им о направлении, в котором движется их собственная судьба? Потому-то и выдвигаются такие смехотворные лозунги, как преодоление экономического кризиса, взаимопонимание между народами, национальная безопасность и самодостаточность, чтобы с помощью *prosperity* и разоружения «преодолеть» катастрофы, охватившие несколько поколений.

Но сейчас я говорю о Германии, которой буря обстоятельств угрожает как никакой другой стране. Под вопрос поставлено само ее существование в пугающем смысле слова. Какая близорукость и шумная пошлость господствует тут, что за провинциальные взгляды всплывают в момент, когда речь заходит о величайших проблемах! Предлагают по эту сторону наших пограничных столбов основать Третий Рейх или государство Советов, отменить армию или собственность, избавиться от экономических лидеров или сельского хозяйства, дать отдельным землям как можно больше самостоятельности или ликвидировать оную, позволить старым господам от промышленности и управления снова руководить в стиле 1900-х или, наконец, совершить революцию, провозгласить диктатуру, для которой диктатор уж найдется – четыре дюжины людей чувствуют себя уже давно созревшими для этого, – и все будет прекрасно и хорошо.

Но Германия не остров. Никакая другая страна, действуя или претерпевая, не связана с судьбой мира в такой степени, как Германия. На это ее обрекает само географическое положение, недостаток естественных границ. В XVIII и XIX веке она была «Центральной Европой», в XX веке она вновь, как и после XIII века, стала страной, граничащей с «Азией», и никто не нуждается в преодолении политической и экономической ограниченности своего мышления так, как немцы. Все, что происходит вдали, отдается в глубине Германии.

Но наше прошлое мстит за эти 700 лет жалкой раздробленности на мелкие провинциальные государства без всякого следа величия, без идей и целей. Этого не восполнить за два поколения. Творение Бисмарка содержало в себе большую ошибку, ибо подрастающее поколение не было подготовлено к обстоятельствам новой формы нашей политической жизни. Их видели, но не понимали, не сумели осознать новые горизонты, проблемы и обязательства. С ними не жили. И средний немец по-прежнему смотрел на судьбу своей большой страны обособленно и ограниченно, то есть плоско, узко, тупо, из своего захолустья. Это местечковое мышление началось с того момента, когда императоры династии Штауфенов, с их интересами, простиравшимися за пределы Средиземного моря, и Ганза, господствовавшая от Шельды до Новгорода, были вытеснены – вследствие недостатка реально-политической поддержки внутри страны – другими, более основательно организованными державами. С тех пор люди заперлись в своих бесчисленных маленьких отчизнах и местечковых интересах, сопоставляли мировую историю со своим горизонтом и мечтали, голодая и влача жалкое существование, о какой-то заоблачной империи (Reich), что и получило название «немецкого идеализма». К подобному мелкому внутринемецкому мышлению относится почти все, что касается политических идеалов и утопий, взошедших в болотистой почве Веймарского государства, все интернационалистские, коммунистические, пацифистские, ультрамонтанские, федералистские и «арийские» фантазии о *Sacrum Imperium*, государстве Советов или Третьем рейхе. Все партии полагают и поступают так, как если бы Германия была одна во всем мире. Профсоюзы не смотрят Дальше промышленных районов. Колониальная политика была ненавистна им потому, что она не вписывалась в схему классовый борьбы. В своей доктринерской ограниченности они не понимают или не хотят понять то, что экономический империализм 1900-х был как раз предпосылкой существования рабочего, поскольку обеспечивал сбыт продукции и добычу сырья. Это уже давно стало ясно английскому рабочему. Немецкая демократия увлеклась пацифизмом и разоружением за пределами французского влияния. Федералисты хотели бы и без того маленькую страну превратить в связку карликовых государств старого образца, и тем самым дать возможность чуждым силам настраивать их друг против друга. И национал-социалисты надеются справиться без мира и вопреки миру и построить свои воздушные замки, не встретив, по меньшей мере, молчаливого, но очень чувствительного противодействия извне.

Глава 2

<...> Сегодня мы живем в эпоху рационализма, которая началась в XVIII веке, в XX веке быстро подходит к своему завершению. Все мы являемся ее созданиями независимо от того, знаем и хотим ли этого или нет. Это выражение знакомо всем, но кто знает, что с ним связано? Это надменность городского, лишенного корней, более не движимого сильными инстинктами духа, который свысока смотрит на полнокровное мышление прошлого и на мудрость древних крестьянских родов. Это время, когда всякий может читать и писать, и потому хочет сказать свое слово, считая, что он все понимает лучше других. Этот дух одержим понятиями, этими новыми богами своего времени, и пытается критиковать мир: тот никуда не годится, мы

можем сделать его лучше, так давайте сочиним программу лучшего мира! Нет ничего проще, когда у человека есть разум. Тогда она осуществится сама собой. Между тем, мы называем это «прогрессом человечества». Если что-то имеет название, значит, оно имеет место. Кто в этом сомневается, тот является ограниченным, реакционером и еретиком, по крайней мере, человеком без демократических добродетелей: убрать его с дороги! Так страх перед действительностью преодолевается духовным высокомерием, чванством – из-за сомнений во всех жизненных делах, духовной нищеты и недостатка почтения; наконец, из-за оторванной от жизни глупости, ибо нет ничего глупее лишнего корней городского рассудка. В английских конторах и клубах она называется *common sense* (*здравый смысл*), во французских салонах – *esprit*, в каморках немецких ученых – чистый разум. Плоский оптимизм филистеров от образования начинает уже не столько бояться элементарных фактов истории, а презирать их. Каждый всезнайка хочет встроить их свою чуждую опыту систему, сделать их понятийно более совершенными, чем они есть на самом деле, сделать их подвластными своему разуму, потому что он больше не переживает их, а лишь познает. Эта доктринерская склонность к теориям из-за недостатка опыта, лучше сказать, из-за недостаточного дарования набираться опыта, литературно выражается в бесконечных набросках политических, социальных и экономических систем и утопий, практически – в страсти организовывать что-либо. Последняя становится абстрактной самоцелью и приводит к бюрократии, которая, работая вхолостую, разлагается сама или уничтожает весь жизненный порядок. В сущности, рационализм есть не что иное, как критика, а критик есть противоположность творца, он разлагает и составляет: ему чуждо зачатие и рождение. Оттого-то его продукт оказывается искусственным, безжизненным и мертвящим при столкновении с реальной жизнью. Все эти методичные и абсурдные системы и организации возникли на бумаге и существуют лишь на бумаге. Это началось во времена Руссо¹⁵ и Канта с философских, теряющихся во всеобщности, идеологий; затем, в XIX веке, приводит к научному конструированию с помощью естественнонаучных, физических, дарвинистских методов – к социологии, политэкономии и материалистической историографии, – а в XX веке вырождается в сочинительство тенденциозных романов и партийных программ.

Однако не нужно обманывать себя: идеализм и материализм в равной мере относятся к этому течению. Они оба насквозь рационалистичны <...>

Глава 3

Мы все рискуем неправильно оценить современную ситуацию в мире. Со времен Гражданской войны в Америке (1865), Франко-Прусской войны (1870) и Викторианской эпохи, у белых народов вплоть до 1914 года продолжалось столь невероятное состояние покоя, безопасности, мирного и беззаботного прогрессивного бытия, что подобного не найти во все века. Кто его пережил или слышал о нем от других, тот сразу поддается соблазну считать его нормальным, а беспорядочную современ-

ность рассматривать как нарушение такого естественного состояния и ожидать, когда «наконец снова наступит подъем». Но этого не произойдет. Подобное никогда более не повторится. Людям не известны причины, приведшие к столь невероятно длительному состоянию: тот факт, что постоянные и все увеличивающиеся армии сделали войну настолько непредсказуемой, что ни один государственный деятель не решался ее начать; тот факт, что техническая промышленность находилась в лихорадочном движении, которое должно было стремительно закончиться, так как опиралось на стремительно исчезающие условия; и, наконец, тот факт, что в результате решение трудных проблем времени все дальше откладывалось и перекладывалось на сыновей и внуков как дурное наследство последующих поколений. Это продолжалось до тех пор, пока совсем не разуверились в существовании подобных проблем, хотя те принимали все более угрожающий характер.

Немногие могут вынести длительную войну без душевного разложения, длительный мир не выносит никто. Это мирное время с 1870 по 1911 годы и воспоминание о нем сделали всех белых людей сытыми, жадными, безучастными и неспособными переносить страдания. Последствия видны в утопических представлениях и требованиях, с которыми сегодня выступает любой демагог, с претензиями к времени, государствам и партиям, прежде всего, к «другим», даже не вспоминая о границах возможного, об обязанностях, о собственном вкладе и самоотречении <...>

Ибо мы живем в ужасное время. Самое величайшее из тех, что когда-либо переживала или будет переживать культура Запада <...>

Человек – хищник. Я буду повторять это всегда. Все образцы добродетели и социальной этики, которые хотят быть или стать выше этого, являются всего лишь хищниками со сломанными зубами, ненавидящими других из-за нападений, которых сами благоразумно избегают. Посмотрите на них: они настолько слабы, что не могут читать книг о войне, но выбегают на улицу, если случится несчастный случай, чтобы возбудить свои нервы кровью и криками, а если они не способны уже и на это, тогда наслаждаются этим в кино и иллюстрированных изданиях. Если я называю человека хищником, то кого я при этом унижаю, человека или животное? Ибо великие хищники – это благородные создания совершенной формы и без лживости человеческой морали из слабости.

Они кричат: «Нет войне!», но желают вести классовую борьбу. Они негодуют, когда казнят маньяка, но втайне получают удовольствие от известия о смерти своего политического противника. Разве они когда-либо возражали против бойни, устроенной большевиками? Нет, борьба есть древний факт жизни и сама жизнь, и даже самому жалкому пацифисту не удастся до конца истребить в своей душе удовольствие от нее. По меньшей мере, теоретически он был бы рад победить и уничтожить всех противников пацифизма.

Чем глубже мы вступаем в эпоху цезаризма фаустовского мира, тем более становится ясно, кто нравственно предопределен стать субъектом, а кто – объектом исторических событий. Печальное шествие улучшателей мира, которое, начиная с Руссо, неуклюже продвигалось через эти столетия, закончилось, оставив после себя в качестве единствен-

ного памятника своего существования горы печатной бумаги. На их место приходят цезари. Вновь вступает в свои вечные права большая политика как искусство возможного, далекое от всех систем и теорий, как умение со знанием дела использовать факты, подобно искусному наезднику управлять миром при помощи шпор.

Поэтому здесь я собираюсь лишь показать, в каком историческом положении находятся Германия и мир, как это положение с необходимостью вытекает из истории предшествующих столетий – с тем, чтобы неизбежно прийти к определенным формам и решениям. Это судьба. Отрицая ее, мы тем самым отрицаем самих себя.

Мировые войны и мировые державы

Глава 4

«Мировой кризис» этих лет, как свидетельствует уже само выражение, понимается слишком плоско, легко и примитивно, в зависимости от ситуации, интересов и горизонта судящих – как кризис производства, рост безработицы, инфляции, следствие военных займов и выплаты репараций, результат неверной внешней и внутренней политики и, прежде всего, как следствие мировой войны. А ее, по мнению людей, можно было бы предотвратить при большей дипломатической честности и проворности. Когда говорят о тех, кто хотел войны и несет за нее ответственность, то косятся, прежде всего, в сторону Германии. Конечно, если бы Извольский, Пуанкаре и Грей тогда предвидели нынешнее состояние своих стран, то отказались бы от намерения добиваться желаемого политического результата – изоляции Германии – посредством войны. Ее первые стратегические операции начались в 1911 году в Триполи и в 1912 году на Балканах. Но разве могло это хотя бы на одно десятилетие задержать насильственную разрядку политической (и не только) напряженности, даже если предположить, что расклад сил мог бы быть чуть иным, менее гротескным? Факты всегда сильнее людей, и возможности любого, даже крупного, государственного деятеля всегда гораздо скромнее, чем это представляется дилетанту. Что изменилось бы в историческом смысле?

Форма, темп катастрофы, но не она сама. Она была необходимым завершением столетия европейского развития, которое со времени Наполеона приближалось к ней с нарастающим возбуждением.

Мы вступили в эпоху мировых войн. Она началась в XIX веке и продолжится в нашем и, вероятно, в следующем веке. Она означает переход от системы государств XVIII века к *Imperium mundi* <...> Империализм – это идея, независимо от того, осознается ли она ее носителями и исполнителями или нет. В нашем случае она, возможно, никогда не будет осуществлена до конца, будет перечеркнута другими идеями, возникающими за пределами мира белых народов, но как тенденция великой исторической формы она обнаруживается во всем, что происходит сейчас.

Сегодня мы живем «между временами». Мир европейских государств XVIII века был образованием строгого

стиля, как и современные ему творения высокой музыки и математики Он был благородной формой не только их существования, но и их поступков и убеждений. Во всем господствовала древняя и могучая традиция. Существовали благородные правила приличия для правления, оппозиции, дипломатических и военных взаимоотношений государств, для признания поражений и для требований и уступок при заключении мирных договоров. Честь играла еще неоспоримую роль. Все происходило церемониально и учтиво – как на дуэли.

С тех пор, как Петр Великий основал в Петербурге государство западного стиля, слово «Европа» начинает проникать во всеобщее словоупотребление западных народов и вследствие этого, как всегда, незаметно в практическое политическое мышление и историю <...>

В этой «Европе» Германия образовывала центр, не государство, а поле битвы для настоящих государств. Здесь, большей частью немецкой кровью, решалось, кому должна принадлежать Передняя Индия, Южная Африка и Северная Америка. На Востоке лежали Россия, Австрия и Турция, на Западе – Испания и Франция, тонущие колониальные империи, у которых остров Англия отвоевал первенство: у испанцев – окончательно в 1713 году, у французов – начиная с 1763 года. Англия стала ведущей силой в этой системе не только как государство, но и как стиль. Она стала очень богатой по сравнению с «континентом» – Англия никогда не считала себя полностью составной частью «Европы» – и использовала свое богатство в виде наемных солдат, матросов и целых государств, которые за субсидии маршировали в интересах острова <...> На Венском конгрессе XVIII век еще раз одержал победу над новым временем. С тех пор это называлось «консерватизм».

Но имела место только кажущаяся победа, и ее успех постоянно ставился под вопрос на протяжении всего столетия. Меттерних, – что бы ни говорили о нем как о личности – политически намного более дальновидный, чем любой политик после Бисмарка, понял это предельно ясно: «Моя самая потаенная мысль в том, что старая Европа находится в начале своего конца. Я полон решимости погибнуть вместе с ней и с сознанием выполненного долга. Новая Европа, с другой стороны, еще в становлении; между концом и началом будет хаос». Только для того, чтобы задержать наступление хаоса как можно дольше, возникла система равновесия великих держав, «Священный союз» между Австрией, Пруссией и Россией <...>

Однако уже к 1878 году созрели условия для первой мировой войны. Русские стояли у Константинополя, Англия была готова вмешаться, Франция и Австрия тоже; война тотчас распространилась бы на Азию и Африку и, возможно, Америку, ибо на первый план выдвинулись угроза Индии со стороны Туркестана, вопрос о контроле над Египтом и Суэцким каналом, китайские проблемы. А за всем этим стояло начавшееся соперничество между Лондоном и Нью-Йорком, не забывшим об английских симпатиях к южным штатам во время гражданской войны. И только личное превосходство Бисмарка отодвинуло в будущее решение этих великих вопросов власти, невозможное мирным путем. Одна-

ко в результате, вместо реальных войн началась гонка вооружения для войн будущих, возникла новая форма войны в виде взаимного увеличения числа солдат, орудий, изобретений, выделенных финансовых средств. С того времени напряжение давно достигло невыносимого уровня <...>

Впрочем, у России именно тогда появился повод заняться «Европой»; было ясно, что Австро-Венгрия едва ли переживет смерть императора Франца Иосифа. Вставал вопрос, в каких формах будет осуществляться переход к новому порядку в этих обширных областях и возможен ли этот переход без войны <...>

Глава 5

<...>

Человеческая история в век высоких культур есть история политических держав. Формой этой истории является война. Но и мир также относится сюда. Он есть продолжение войны другими средствами: попытка побежденного избавиться от последствий войны в форме договоров и стремление победителя эти последствия сохранить. Государство – это «пробывание в форме» для ведения настоящих и возможных войн ради народного единства, им образованного и представленного. Если эта форма сильна, то уже как таковая имеет ценность победоносной войны, выигранной без оружия, одним весом имеющихся в ее распоряжении сил. Если же она слаба, то постоянных поражений в отношениях с другими державами не избежать. Государства представляют собой чисто политические единства, единства действующих вовеки сил. Они не привязаны к единствам рас, языков или религий, они стоят выше этого. Если же они совпадают с подобными единствами или пересекаются с ними, то в таком случае их сила вследствие внутреннего противоречия будет, как правило, меньше, но никогда не больше. Внутренняя политика предназначена только для того, чтобы укреплять силу и единство внешней политики. Если же она начинает преследовать другие, собственные цели, начинается разложение, утрата государством формы <...>

В XIX веке государства переходят от формы династического к форме национального государства. Но что это значит? Нации, то есть культурные народы, конечно же, существовали давно. В большей своей части они совпадали с владениями крупных династий. Эти нации были идеями, в том смысле, котором Гете говорит об идее собственного бытия: внутренняя форма значимой жизни, которая неосознанно и незаметно реализуется в каждом поступке, в каждом слове. Однако «*la nation*»* в смысле 1789 года была националистическим и романтическим идеалом, желаемой картиной явно политической, чтобы не сказать социальной, направленности. В это пошлое время уже никто не умеет отличить одно от другого. Идеал есть результат мышления, понятие или предложение, которое должно быть сформулировано, чтобы «иметь» идеал. Впоследствии оно быстро становится выражением, которое используют не задумываясь. Идеи же, напротив, бессловесны <...>

Настоящие нации, как и любой живой организм, имеют сложную внутреннюю структуру; уже одним своим существованием они представляют собой своего рода порядок. Но политический рационализм понимает «нацию» как свободу *от*, как борьбу против любого порядка. Нация для него бесформенная масса, без структуры, руководства и целей Это он называет суверенитетом народа <...>

Наиболее роковым является идеал правления народа над «самим собой». Но народ не может управлять собой, как не может армия сама командовать собой. Им нужно руководить, и он желает этого, пока имеет здоровые инстинкты. Но здесь подразумевается совсем иное: понятие народного представительства сразу же играет первую роль в каждом подобном движении. Появляются люди, которые называют себя «представителями» народа и предлагают себя в качестве таковых. Они вовсе не собираются «служить народу», они хотят использовать народ в своих более или менее грязных целях, самой безобидной из которых является удовлетворение тщеславия. Они борются с силой традиции, чтобы занять ее место. Они борются с государственным порядком, поскольку он препятствует методам их деятельности. Они борются с любым видом авторитета, потому что не хотят быть ответственными ни перед кем и сами избегают всякой ответственности. Ни одна конституция не предусматривает инстанции, перед которой должны были бы отчитываться партии. Прежде всего, они борются с постепенно вызревшей и развитой культурной формой государства, потому что они не имеют ее в себе, подобно хорошему обществу, «*society*» XVIII века, и поэтому считают ее принуждением, каковым она для культурного человека не является. Так возникает «демократия» этого столетия, не форма, а бесформенность во всех смыслах как принцип, парламентаризм как анархия в рамках конституции, республика как отрицание всякого авторитета.

Так европейские государства теряют форму в той мере, насколько прогрессивнее они управляются <...>

Глава 6

К наиболее серьезным признакам упадка государственного суверенитета относится тот факт, что в течение XIX века возобладало мнение, будто экономика важнее политики <...>

На самом деле в жизни народов невозможно отделить политику от экономики. <...>

Исторический опыт должен был стать предупреждением веку. Экономические начинания никогда по настоящему не достигали своих целей без державно мыслящего государственного руководства. Неверно оценивать так набеги викингов, положивших начало морскому господству европейских народов. Их целью был, конечно, грабеж – земля, людей или богатства, неважно. Но корабль являлся для них государством, а план плавания, командование, тактика – настоящей политикой. Там, где корабли объединялись во флот, тотчас же возникало государство с ярко выраженными суверенными правительствами, как то было в Нормандии, Англии и Сицилии. Немецкая Ганза оставалась бы мощной экономической державой, если бы сама Германия стала державой политической. После распада этого мо-

гущественного союза городов, политическую поддержку которого никто не воспринимал в качестве задачи немецкого государства, Германия была исключена из крупных мировых экономических комбинаций Запада. Она снова вошла в них лишь в XIX веке и не благодаря частным стараниям, но исключительно вследствие политического творчества Бисмарка, создавшего предпосылки для империалистического подъема немецкой экономики <...>

Глава 7

Самым серьезным выражением «национальной» революции 1789 года стали постоянные армии XIX века. Профессиональные войска династических государств сменились массовыми армиями, сформированными на основе всеобщей воинской повинности. В сущности таков был идеал якобинцев: *levee en masse* 1792 года соответствовала пониманию нации как массы, которая должна быть организована по принципу полного равенства на месте старой, созревшей, разделенной на сословия нации. То, что в атаках этих масс в униформе проявилось нечто совсем иное, – великолепная, варварская, совершенно нетеоретическая радость опасности, господства и победы, остаток здоровой расы, который еще жил в этих народах со времен нордических героев, – это очень скоро поняли идеалисты «прав человека» <...>

После 1870 года они (армии) предотвращали войну, потому что никто уже не осмеливался привести в движение такую чудовищную мощь из-за боязни непредвиденных последствий, и тем самым продлилось аномальное мирное состояние с 1870 по 1914 год, которое сегодня делает почти невозможной правильную оценку ситуации. Место непосредственной войны заняла опосредованная война в виде постоянного повышения боеготовности, темпов вооружений и технических открытий – война, в которой также были победы, поражения и недолговечные мирные договоры. Но этот способ скрытой войны предполагает национальное богатство, которого смогли достичь страны с крупной промышленностью. В значительной части оно состояло из самой этой промышленности в той мере, в которой та представляла капитал, предпосылкой же промышленности было наличие угля, на месторождениях которого она основывалась. Для ведения войны нужны деньги, для подготовки войны их нужно гораздо больше. Так крупная индустриальная экономика сама стала оружием; чем производительнее она была, тем решительнее обеспечивала успех. Каждая доменная печь, каждый машиностроительный завод укрепляли готовность к войне. Шансы на проведение успешных операций все более зависели от возможности неограниченного использования материалов, прежде всего – боеприпасов. К пониманию же этого приходили очень медленно. Во время мирных переговоров 1871 года Бисмарк считал важными только стратегические пункты Мец и Бельфор, а вовсе не Лотарингский железнорудный бассейн. Но как только отношения между экономикой и войной, углем и пушками стали осознаваться во всей полноте, тогда все изменилось: сильная экономика стала решающей предпосылкой для ведения войны; за это она требует первостепенного внимания, и теперь во все возрас-

тающей мере пушки начинают служить углю. К этому прибавился упадок государственного мышления вследствие распространившегося парламентаризма. Экономика – от треста до профсоюза – начинает участвовать в управлении, а посредством своего «да» или «нет» и в определении целей и методов внешней политики. Колониальная и заокеанская политика превращается в борьбу за рынки сбыта и источники сырья для промышленности, в том числе, во все возрастающей мере за месторождения нефти. Ибо нефть начинает подавлять и вытеснять уголь. Без бензиновых моторов были бы невозможны автомобили, самолеты и подводные лодки <...>

Но тем самым, совершенно вопреки ожиданиям держав, навязавших договор, началась новая экономическая война, в которой мы сегодня находимся, и которая образует значительную часть современного «мирового экономического кризиса». Распределение сил в мире полностью сместилось из-за усиления Соединенных Штатов и их финансовой олигархии, а благодаря новому характеру Российской Империи изменились враги и методы. Экономические методы современной войны, которую позже, быть может, назовут второй мировой войной, породили совершенно новые формы большевистское экономическое наступление в виде пятилетних планов: наступление доллара и франка на фунт, управляемое с зарубежных бирж; инфляцию как метод уничтожения враждебного экспорта, то есть экономики, и тем самым – условий существования больших народов; планы Дауэса и Янга, как попытки финансовых групп заставить целые государства принудительно работать на банки. По сути, речь идет о том, чтобы сохранить жизнеспособность своей нации за счет уничтожения жизнеспособности других. Это борьба у лодочного кия. Но потом будут снова задействованы (как только исчерпаются иные) старейшие и изначальные средства – военные: более мощная держава будет принуждать более слабую отказаться от экономического сопротивления, капитулировать и тем самым исчезнуть. В конце концов, пушки все же сильнее угля. Невозможно предсказать, чем закончится эта экономическая война, но ясно то, что, в конце концов, государство как авторитет, опирающийся на добровольную и потому надежную, хорошо образованную и очень мобильную профессиональную армию, снова вступит в свои исторические права, а экономика будет отодвинута на вторую позицию, как это ей и подобает.

Глава 8

В эту переломную эпоху, эпоху «межвременья» и бесформенности, когда одни хаотические состояния еще долго будут сменяться другими, постепенно вырисовываются новые тенденции, указывающие путь в будущее. Начинают формироваться силы, по своей форме и положению призванные вступить в решающую борьбу за господство на нашей планете, лишь одна из них сможет дать имя *Imperium mundi* и даст его, если чудовищный рок не уничтожит ее до того, как она успеет возникнуть. Зарождаются нации нового типа, не похожие на то, чем они являются еще сегодня

<...>

Кажется, что Западная Европа потеряла свое определяющее значение, но, за исключением политики, это только так кажется. Идея фаустовской культуры выросла здесь. Здесь она имеет свои корни, здесь она одержит последнюю победу в своей истории или быстро погибнет. Решения, где бы они ни принимались, касаются Запада, его души, не его денег или счастья. Но тем временем власть переместилась в периферийные области, в Азию и Америку.

Что такое сегодня держава большого стиля? Это государственное или подобное ему образование с руководством, имеющим всемирно-политические цели и, вероятно, силу для их достижения, неважно на какие средства она опирается – на армию, флот, политические организации, кредиты, мощные банковские и промышленные группы с общими интересами, наконец, или прежде всего – на сильное стратегическое положение на планете. Всех их можно обозначить, перечислив миллионные города, в которых сконцентрированы власть и дух этой власти. По сравнению с ними все остальные страны и народы являются только «провинцией».

Это, прежде всего, «Москва» – таинственная и совершенно непредсказуемая для европейского мышления и чувствования, ставшая после 1812 года решающим фактором для Европы (когда она еще политически к ней относилась), а начиная с 1917 года – и для всего мира. С исторической точки зрения победа большевиков означает нечто совершенно иное, нежели с точки зрения социальной политики или экономической теории. Азия вновь завладела Россией, после того как посредством Петра Великого ее аннексировала «Европа». Понятие «Европа» вновь исчезает из практического мышления политиков или должно было бы исчезнуть, если бы мы имели политиков крупного масштаба. Но эта «Азия» является идеей, и даже идеей будущего. Рядом с ней раса, язык, народность, религия в сегодняшних формах совершенно не играют роли. Все это будет основательно видоизменяться. То, что сегодня там происходит, невозможно определить при помощи одних слов. Происходит нечто похожее на формирование нового вида жизни, которым беременно это огромное пространство. Пытаться определить, задать будущее, представить его в виде программы, означает смешивать жизнь с риторикой, как это делает господствующий большевизм, недостаточно осознающий свое западноевропейское, рационалистическое и городское происхождение.

Население этой крупнейшей страны на Земле недостижимо для внешних врагов. Простор есть политическая и военная сила, которая еще никогда не была побеждена; это понял еще Наполеон. Что толку врагу от завоевания больших территорий? Чтобы сделать бессмысленными любые попытки завоеваний, большевики переместили центр тяжести своей системы дальше на восток. Все стратегически важные промышленные районы были созданы восточнее Москвы, большей частью восточнее Урала – вплоть до самого Алтая, а на юге – до Кавказа. Все пространство западнее Москвы, а также Белоруссия, Украина, некогда самый жизненно важный район царской империи от Риги до Одессы, образует сегодня фантастический гласис против «Европы» и может быть легко принесен в жертву, не приводя к кру-

шению всей системы. Но тем самым становится совершенно бессмысленной любая мысль о нападении с запада. Оно попросту уткнулось бы в пустое пространство.

Правление большевиков не является государством в нашем смысле, каковым была петровская Россия. Оно как Кипчак, государство «Золотой Орды» во времена монголов, состоит из господствующей орды – называемой коммунистической партией – с вождями и всемогущим ханом, и из подавленной и беззащитной массы, большей по численности примерно в сто раз. От настоящего марксизма здесь очень мало – только названия и программы. В действительности это татарский абсолютизм, который подстрекает и эксплуатирует мир, не обращая внимания на границы, осторожный, хитрый, жестокий, использующий смерть как повседневное средство управления, в любой момент готовый выдвинуть нового Чингисхана, чтобы пойти на Азию и Европу.

Истинно русский в своем ощущении жизни остался кочевником, как и северный китаец, маньчжур и туркмен. Родиной для него является не деревня, но бесконечная равнина, Россия-матушка. Душа этого бескрайнего ландшафта побуждает его к бесцельным скитаниям. «Воля» отсутствует. Германское жизнеощущение имеет цель, которая должна быть достигнута – дальняя страна, проблема, Бог, власть, слава или богатство. Здесь же семьи крестьян, ремесленников и рабочих переезжают с одного места на другое, с одной фабрики на другую без необходимости, только следуя внутреннему стремлению. Никакие насильственные меры Советов не могут этому помешать, хотя возникновение племени обученной и связанной с производством рабочей силы в таких условиях невозможно. Оттого-то всякий раз проваливается попытка создания и поддержания промышленности европейского типа без внешнего участия.

Но стоит ли вообще продолжать воспринимать коммунистическую программу всерьез, как идеал, ради которого миллионы людей были принесены в жертву, голодают и живут в нищете? Или же это всего лишь очень действенное средство обороны от подавленных масс, прежде всего крестьян; и средство нападения на ненавистный нерусский мир, который сначала необходимо разложить, прежде чем он будет раздавлен? Ясно то, что фактически немного бы изменилось, если бы однажды коммунистический принцип был отброшен по причинам стратегической целесообразности. Поменялись бы только названия; отрасли хозяйства назывались бы концернами, комиссии – советами директоров, а сами коммунисты – акционерами. В остальном мы давно наблюдаем здесь западную форму капитализма.

Но вне своих пределов эта держава не может вести никакой войны ни на Востоке, ни на Западе, за исключением войны пропагандистской. Для этого подобная система с ее западноевропейскими, рационалистическими признаками, которые происходят из литературного подполья Петербурга, слишком искусственна. Она не пережила бы ни одного поражения, поскольку не пережила бы ни одной победы – московская бюрократия не смогла бы противостоять даже одному победоносному генералу. На смену Советской России пришла бы какая-нибудь другая Россия, а правящая орда, вероятно, была бы истреблена. Но в то же время был бы преодолён лишь большевизм марксистского стиля, а

националистически-азиатский продолжал бы беспрепятственно расти до гигантских размеров. Надежна ли вообще Красная Армия? Можно ли ее использовать? Как обстоят дела с деловыми и моральными качествами «офицерского корпуса»? То, что показывается на парадах в Москве, – на самом деле лишь элитные части из убежденных коммунистов, личная охрана власть имущих. Из провинции постоянно доходят известия о подавленных заговорах. И вообще, насколько готовы к серьезному использованию железные дороги, самолеты, военная промышленность? Ясно то, что действия русских в Маньчжурии и пакты о ненападении на Западе выдают решимость при любых обстоятельствах избегать военной пробы сил. Другие средства – экономическое уничтожение врага посредством торговли и, прежде всего, посредством революции, понимаемой не как идеальная цель, а как оружие, использованное Англией и Францией в 1918 году против Германии, являются менее опасными и более действенными.

Япония, в отличие от России, имеет очень сильную позицию. Со стороны моря она практически недостижима благодаря цепям островов, чьи узкие проходы можно прочно запереть с помощью минных полей, подводных лодок и самолетов, так что Китайское море станет недоступным для чужеземного флота <...>

Без сомнения, Россия и Япония направляют свой взор на таящиеся здесь возможности и тихо работают со средствами, пока «белый» ничего не знает и не видит. Но настолько ли прочно положение Японии, каким оно было во время войны с Россией? Тогда у власти стояло древнее, гордое, благородное и мужественное сословие самураев, принадлежавшее к одной из лучших «рас» во всем мире. Но сегодня можно слышать о радикальных партиях, забастовках, большевистской пропаганде и убийствах министров. Не остался ли период расцвета этого великолепного государства позади, не отравлено ли оно демократическо-марксистскими трупными ядами белых народов именно сегодня, когда борьба за Тихий океан вступает в свою решающую фазу? Если оно все еще обладает былой силой для нападения, то это вместе с несравнимым стратегическим положением на море обрекает на неудачу любую вражескую комбинацию. Но кто может выступить здесь серьезным противником? Определенно не Россия, и уж конечно не какая-нибудь западноевропейская держава. Утрата всеми этими государствами их бывшего политического значения нигде не была столь очевидной. Не прошло и двадцати лет с тех пор, как были заняты Порт-Артур, Вейхайвей и Киаутчоу, и полным ходом шло разделение Китая на сферы интересов западных держав. Проблема Тихого океана была тогда европейской проблемой. Сегодня даже Англия больше не осмеливается осуществить вынашиваемые ею десятилетиями планы по расширению Сингапура. Он должен был стать мощным опорным пунктом английского флота в восточно-азиатском пространстве в случае осложнений, но сможет ли он выстоять против Японии и Франции, если последняя предоставит сухопутный путь через Индокитай? Если Англия откажется от своей прежней роли в этих морях и тем самым поставит Австралию под давление Японии, то та должна будет выйти из *Empire* и присоединиться к Америке. Америка является единственным серьезным противником, но насколько велика ее морская сила в данном регионе, не-

смотря на Панамский канал? Сан-Франциско и Гавайи находятся слишком далеко, чтобы служить базами флота против Японии, удержать Филиппины вряд ли возможно, к тому же Япония имеет в Латинской Америке возможных союзников против Нью-Йорка, значение которых велико, что бы о них ни говорили

Глава 9

Являются ли Соединенные Штаты державой будущего? <...>

Очевидное, часто игнорируемое сходство с большевистской Россией – тот же бесконечный ландшафт <...> Жизнь организована чисто экономически, что исключает глубину в той мере, в какой отсутствует элемент действительной исторической трагики, великой судьбы, которая веками углубляла и воспитывала души европейских народов Религия, первоначально – строгий пуританизм, превратилась в способ обязательного развлечения, а война стала новой новизной спорта. Еще одно сходство – диктатура общественного мнения, будь то партийная или общественная, которая вмешивается во все, что в Европе является личным делом: флирт и посещение церкви, обувь и косметику, модные танцы и романы, мышление, питание и удовольствия. Все одинаково для всех. Существует некий нормированный тип американца – и, прежде всего, американки – с определенным телосложением, одеждой и душой, и тот, кто осмеливается выступать против него, кто открыто его критикует, тот подвергается всеобщему презрению, как в Нью-Йорке, так и в Москве. И, наконец, в Соединенных Штатах Америки существует почти русская форма государственного социализма или государственного капитализма, представленная массой трестов, которые подобно русским хозяйственным управлениям вплоть до деталей планируют и руководят производством и сбытом продукции <...>

Но безгосударственная и незаконная «свобода» чисто экономически устроенной жизни имеет свою оборотную сторону. Благодаря ей возникла морская держава, которая становится сильнее Англии и уже господствует на двух океанах. Появились колониальные владения: Филиппины, Гавайи, Вест-Индские острова. Ввиду экономических интересов и благодаря английской пропаганде Соединенные Штаты все глубже втягивались в Первую мировую войну – вплоть до военного участия в ней. Тем самым они стали лидером мировой политики, знают ли и хотят ли они этого или нет, и теперь в своей внутренней и внешней политике должны учиться думать и действовать по-государственному или же вовсе исчезнуть в своей сегодняшней форме. Назад возврата больше нет. Справится ли «янки» с этой трудной задачей? <...>

Разумеется, коммунистической партии не существует. Ее, как организации, участвующей в выборах, не было и в царской империи. Но в Соединенных Штатах, как и в России, существует могущественный мир подполья, почти по Достоевскому, со своими собственными целями, методами разложения и обогащения, который в результате обычной коррупции органов управления и безопасности проник в наиболее состоятельные слои общества. Прежде всего, за

счет контрабанды алкоголя, приведшей к крайней политической и социальной деморализации. Он включает в себя как преступный мир, так и тайные организации типа Ку-Клукс-Клана <...>

Есть только одна держава, не считая Японии, стремящейся беспрепятственно проводить свои империалистические планы в Восточной Азии вплоть до Австралии, которая готова на любые жертвы ради такого развала – Англия <...>

На фоне таких событий, в которых таинственно и угрожающе сгущается судьба всего мира, быть может, на сотни лет вперед, романские страны имеют лишь провинциальное значение <...>

Французская нация все отчетливее делится на две духовно совершенно отличные друг от друга части. Одна из них – далеко превосходящий по численности «жирондистский» элемент, состоящий из провинциальных французов, увлеченных идеалом рантье, крестьян и буржуа. Им не нужно ничего, кроме покоя – в грязи, жадности и тупости – уставшего и бесплодного народа. Они хотят лишь немного денег, вина и *amour*, они больше и слышать не хотят о большой политике, об экономическом честолюбии, о борьбе за значимые жизненные цели. Над всем этим находится постепенно сокращающийся якобинский слой, определяющий судьбу страны начиная с 1792 года и давший название французскому национализму по имени старой комедийной фигуры 1831 года – Шовена. Он состоит из офицеров, промышленников, высших чиновников строго централизованного Наполеоном управления, журналистов парижской прессы, депутатов без различия партий и программ – быть депутатом в Париже означает вести частное дело, а не партийное, – а также некоторых могущественных организаций, таких как ложи и союзы фронтовиков. Этот слой уже на протяжении столетия спокойно управляется и используется международной парижской финансовой олигархией, которая оплачивает прессу и выборы. Шовинизм уже давно стал доходным делом <...>

Так выглядит мир вокруг Германии. В этих условиях для нации без вождя и оружия, обнищавшей и разрозненной, нельзя гарантировать даже простого существования. Мы видели миллионы истребленных в России и умерших с голоду в Китае, и это было для остального мира всего лишь газетной новостью, которая забылась на следующий же день. Ни один человек не опечалится, узнав, что где-то в Западной Европе произошло нечто еще более ужасное. Пугаются только угроз; с совершившимися фактами примиряются быстро <...>

Игра в кости за мировое господство только началась. Сильные люди доиграют ее до конца. Разве не должны быть среди них и немцы?

Белая мировая революция

Глава 10

Так выглядит эпоха мировых войн, и мы находимся лишь в ее начале. Но за ней набирает силу другая разрушительная

стихия – мировая революция. Чего она хочет? В чем она заключается? <...>

Эта борьба разворачивается не только между слоями людей, но и между уровнями духовной жизни вплоть до каждого отдельного человека. Почти каждый из нас имеет в себе эту двойственность чувства и суждения, хотя даже не догадывается о ней. Поэтому лишь немногие приходят к нему пониманию того, на чьей стороне они действительно находятся <...>

Такая же диктатура не просто угрожает сегодня белым народам, но мы находимся всецело под ее властью, причем так естественно, что уже не замечаем ее. «Диктатура пролетариата», то есть диктатура использующих его профсоюзов и партийных функционеров всех направлений является свершившимся фактом, независимо от того, формируют ли они правительства или подчиняют их себе при помощи запугивания «буржуазии». Этого хотел Марий, но потерпел крах из-за отсутствия всякого политического дарования. Но зато его племянник Цезарь имел его достаточно и завершил страшную революционную эпоху своей формой «диктатуры сверху», которая на место партийной анархии поставила неограниченный авторитет выдающейся личности, той формой, что всегда будет носить его имя. Его убийство и последствия этого уже ничего не могли изменить. Начиная с него, борьба идет уже не за деньги или усмирение социального гнева, но лишь за обладание абсолютной властью.

Эта борьба не имеет ничего общего с борьбой между «капитализмом» и «социализмом» <...>

Глава 11

Эта революция, длящаяся более века, в своей глубинной основе не имеет ничего общего с «экономикой». Она является длительным периодом разложения всей жизни культуры, понимаемой как живое тело <...>

Сценой этой революции жизни, ее «почвой» и одновременно ее «выражением» является большой город, который возникает в поздний период всех культур. В этом каменном и окаменевшем мире собирается утративший свои корни народ, оторванный от крестьянской жизни, «масса» в самом худшем понимании, бесформенный человеческий песок, из которого можно лепить искусственные и потому мимолетные образования, партии, созданные на основе программ и идеалов организации. Но в нем отмерли силы естественного роста, насыщенного традицией в процесс смены поколений, прежде всего, утрачена естественная плодовитость жизни, инстинкт продолжения семьи и рода. Многодетность, первый признак здоровой расы, становится обузой и высмеивается. Это серьезнейший признак «эгоизма» людей из больших городов, ставших самостоятельными атомами, эгоизма, который не является противоположностью сегодняшнему коллективизму <...>

В то же время в невероятных масштабах растет голый интеллект, этот единственный цветок, этот сорняк на городских бульварниках <...>

Так возникает нигилизм – глубокая ненависть пролетария к превосходящей форме любого вида, к культе ре как ее воплощению, к обществу как ее носителю и историческому результату <...>

Такова тенденция нигилизма: никто не думает о том, чтобы поднять массы до высоты настоящей культуры; это хлопотно и неудобно, возможно, отсутствуют и определенные предпосылки. Напротив – строение общества должно быть выровнено до уровня сбродов. Должно царить всеобщее равенство: все должно быть одинаково пошлым. Одинаковым способом добывают деньги и тратят их на одинаковые развлечения: panem et circenses – большего не требуется, большего и не поймут. Превосходство, манеры, вкус, любой вид внутренней иерархии являются преступлениями. Этические, религиозные и национальные идеи, брак ради детей, семья и государственный суверенитет кажутся старомодными и реакционными. Вид улиц Москвы указывает направление, но не стоит заблуждаться: то, что сейчас царит там – это не московский дух. Большевизм возник в Западной Европе, и именно в ту пору, когда английско-материалистическое мировоззрение тех кругов, в которых Вольтер и Руссо вращались как способные ученики, нашло действенное выражение в континентальном якобинстве. Демократия XIX века – это уже большевизм; только ей не хватило мужества быть до конца последовательной. Лишь один шаг отделяет взятие Бастилии и укрепляющую всеобщее равенство гильотину от идеалов и уличных боев 1848 года, года коммунистического манифеста, а отсюда также всего один шаг до краха уподобившегося Западу царизма. Большевизм не угрожает нам, он уже овладел нами. Его равенство – это уравнивание народа со сбродом, его свобода – это освобождение от культуры и общества.

Глава 12

В конце концов, к высокой культуре относится, причем необходимо, еще нечто такое, что заставляет пошлые натуры сходить с ума от зависти и ненависти: собственность (Besitz) в ее первоначальном смысле, находящаяся в давнем и длительном владении, унаследованная от отцов или накопленная за десятилетия напряженного и самоотверженного труда, сохраненная и приумноженная для сыновей и внуков. Богатство является не только предпосылкой, но, прежде всего, следствием и выражением превосходства, причем не только в смысле способа его приобретения, но и умения придать ему форму и использовать его в качестве элемента подлинной культуры. Необходимо, наконец, открыто сказать, хотя это и прямая пощечина пошлости нашего времени: собственность – не обуза, а талант, которым наделены лишь немногие. Она также является результатом длительного воспитания у знатных родов, иногда – у основателей поднимающихся семей – результатом самовоспитания на основе качеств сильной расы, и почти никогда – результатом одной только врожденной гениальности без каких-либо предпосылок воспитывающего окружения и при»I ров из прошлого. Речь идет не о том, скольким владеют чем и как <...>. Простое количество как самоцель пошло. Можно стремиться и обладать собственностью как средством достижения власти. Подчинение эко-

номического успеха политическим целям подтверждает ту старую истину, что веление войны и управление государством связано с деньгами. Это понимал Цезарь, когда захватил и разграбил Галлию, а в наши дни – Сесил Родс, когда прибрал к рукам южноафриканские рудники, чтобы основать там государство по своему личному вкусу. Ни один бедный народ не может добиться больших политических успехов, а если он считает бедность добродетелью, а богатство – грехом, то он и не достоин их. Собственность – это оружие. Таков был глубинный, вряд ли полностью осознаваемый смысл германских морских и наземных походов: на добытые сокровища строились корабли и набирались дружины. Королевская щедрость характерна для этой разновидности воли к власти. Она образует противоположность как жадности и скупости, так и расточительности нуворишей и бабьей любви к ближнему. Но здесь речь не об этом. Я говорю о собственности, поскольку она несет в себе традицию определенной культуры. Она означает внутреннее превосходство; она выделяет целые классы людей <...>

Именно в результате такого отношения общественная революция получает экономическую направленность, находящую свое выражение в агитаторских теориях, интересующихся не целями и организацией экономики, но лишь денежной ценностью вложений и прибыли. Богатство и бедность противопоставляются друг другу с целью организации борьбы между ними. Люди хотят иметь «все», все что есть, на чем можно делать деньги – путем раздела или общего владения, а все, что нельзя получить, хотят уничтожить, чтобы этим не могли владеть другие. Из подобных чувств и мыслей – не нижних слоев общества, а его самозванных вождей, – возникло все то, что в античности называлось равным разделом богатств, а сегодня именуется классово-социальной борьбой и социализмом. Это борьба между верхами и низами общества, между вождями наций и вождями дна, для которых классы рабочих являются всего лишь объектами и средствами для достижения собственных целей. Состарившемуся обществу остается лишь слабо обороняться против беспощадного наступления своих прирожденных врагов – до тех пор, пока поднимающийся цезаризм диктатуры пролетариата не положит конец тенденциям в духе Гракхов и Катилины.

Глава 13

Таким образом, созданы предпосылки для описания «белой» революции в полном объеме, ее целей, продолжительности и логического развития. До сих пор на это не отваживался никто. И, наверное, это было невозможно до тех пор, пока одновременно с последствиями Первой мировой не наступили решающие десятилетия. Скепсис как предпосылка исторического взгляда, внутреннего видения истории – подобно презрению к людям как необходимой предпосылке глубокого знания людей – не является первичным.

Эта революция начинается не с материалистического социализма XIX века и тем более не с большевизма 1917 года. С середины XVIII столетия она, выражаясь ее же языком, присутствует «перманентно». Тогда рациона-

листоческая критика, гордо называвшая себя философией Просвещения, начала переносить свою разрушительную деятельность с теологических систем христианства и традиционного мировоззрения образованных слоев, бывшего ничем иным как теологией без воли к системе, на факты действительности, государство и общество и, наконец, на сложившиеся формы экономики. Она занялась лишением понятий «народ», «право» и «правительство» их исторического содержания, совершенно материалистически представила различие между богатством и бедностью как моральную противоположность, о которой заявляли скорее в агитаторских целях, чем искренне в нее верили. Сюда следует отнести и политэкономии, основанную Адамом Смитом в качестве материалистической науки <...>

Активный либерализм последовательно прогрессирует от якобинства к большевизму. Это не противоположность мышления и воли. Это ранняя и поздняя форма, начало и конец единого движения <...>

Лишь с 1840 года однообразно развивающаяся, пишущая и говорящая демагогия Западной Европы находит лучшее средство для своих целей: лишенную корней массу, сконцентрированную на основе северо-европейского угля, представленную в типе индустриального рабочего. Необходимо наконец-то прояснить один факт, полностью затуманенный в ходе партийно-политической борьбы: социализм породила не «экономическая нищета», в которую «капитализм» загнал «пролетариат», а профессиональная агитация, «целенаправленно» культивировавшая подобное восприятие вещей. Она же перед 1789 годом рисовала совершенно ложный образ обнищавшего крестьянства и лишь потому, что надеялась найти в нем своего безусловного приверженца. Образованная и полуобразованная буржуазия поверила этому и до сих пор продолжает верить. Слово «рабочий» после 1848 года было окружено нимбом святости, и люди нисколько не задумывались о его смысле и границах применения. «Рабочего класса» нет в экономической структуре ни одного народа, ибо что общего имеют шахтер, матрос, подмастерье портного, металлист, официант, банковский служащий, батрак и дворник? Однако именно он становится политической действительностью, атакующей партией, раскалывающей все белые народы на два фронта, один из которых должен кормить армию партийных функционеров, митинговых ораторов, газетных писак и «народных представителей» и своей кровью обеспечивать их частные цели. В этом состоит смысл его существования – противоположность капитализма и социализма – слова, дать определение которым безуспешно пыталась огромная литература, ибо невозможно дать определение лозунгам не выведена из какой-либо действительности, но является лишь привлекательной конструкцией. Маркс искусственно внес ее в картину английской тяжелой промышленности, а не вычитал из нее, да и сама эта мысль была возможна лишь потому, что он не учитывал всех людей, занятых в сельском хозяйстве, торговле, транспорте и управлении <...>

Все они игнорируют крестьянство. Оно не имеет большого значения в качестве орудия классовой борьбы уже потому, что не может в любой момент выйти на улицы, да и его традиции собственности и труда противоречат це-

лям теории, не вписываются в лозунги коммунистической программы. Буржуазия и пролетариат – вот это запоминается, и чем наивнее человек, тем меньше он замечает все то, что остается за пределами схемы.

Любая демагогия создает свою программу для той части нации, какую она рассчитывает мобилизовать в свои целях <...>

— Поэтому большевизм, начиная с Парижской коммуны 1871 года, пытается влиять не столько на обученного прилежного и трезвого рабочего, который думает о своей профессии и своей семье, сколько на избегающее работы отребье больших городов, в любой момент готовое грабить и убивать. Поэтому в Германии с 1918 года и до периода наивысшей безработицы правящие профсоюзные партии даже не решались провести законодательное различие между безработными и бездельниками. Тогда наряду с поддержкой мнимых безработных существовала нехватка рабочих рук, прежде всего в сельской местности, и никто не пытался всерьез с ней бороться. Тысячи злоупотребляли больничными кассами для того, чтобы отлынивать от работы. Безработица в ее истоках буквально взращивалась марксизмом. Понятие пролетария исключает радость труда. Рабочий, который что-то умеет и гордится этим, считает себя пролетарием. Он мешает революционному движению. Чтобы привлечь к нему рабочего, его нужно пролетаризировать, деморализовать. Это и есть собственно большевизм, в котором революция достигает пика своего развития, но вовсе не своего завершения.

То, что большевизм воспринимается как русское явление, угрожающее захватить Западную Европу, показывает поверхностность мышления всего «белого» мира. На самом деле он возник в Западной Европе – причем с логической необходимостью – как последняя фаза либеральной демократии 1770 года и как последний триумф политического рационализма, то есть самонадеянной попытки решить задачи живой истории при помощи систем и идеалов, написанных на бумаге. После июньских битв 1848 года его первым крупным проявлением стала Парижская коммуна 1871 года, которая была близка к тому, чтобы завоевать всю Францию. Только армия не позволила ему восторжествовать, да еще немецкая политика, морально поддержавшая эту армию. Тогда, а не в России 1917 года, в условиях оккупированной столицы возникли рабочие и солдатские советы, которые Маркс, слабо разбиравшийся в практических вопросах, рекомендовал в качестве возможной формы коммунистического правления. Тогда впервые произошли массовые убийства врагов, которые стоили Франции больше жертв, чем вся война с Германией. В действительности, тогда господствовал не рабочий класс, а избежавшие работы подонки, дезертиры, преступники <...> О Марксе не было и речи <...> В Петербурге 1917 года была представлена лишь копия в исполнении «западной» черни. Но «азиатская» сторона русской революции тогда еще практически не проявилась, ей и сегодня не удастся преодолеть западно-коммунистические формы советского правления <...>

Глава 14

Кто же подстрекал, организовывал эту массу наемных рабочих в больших городах и промышленных районах и, снабдив лозунгами, циничной пропагандой разжигал в ней классовую ненависть к большинству нации? Это не прилежный и обученный рабочий, а «штраубингер» (вагабунд), как Маркс и Энгельс с полным презрением называют его в своей переписке. В письме от 9 мая 1851 года Энгельс пишет Марксу о демократической, красной и коммунистической черни, а 11 декабря 1851 года спрашивает: «Какая польза от этого сброда, если он разучился даже драться?». Рабочий является только средством для достижения частных целей профессиональных революционеров. Он должен драться, чтобы удовлетворить их ненависть к консервативным силам и их жажду власти. Если бы представителями рабочих считали лишь самих рабочих, то сильно опустели бы левые скамейки во всех парламентах <...>

«Диктатура пролетариата», то есть их собственная диктатура при помощи пролетариата, должна стать их местом счастливым и удачливым – последнее средство для утоления их больного тщеславия и низменной алчности к власти, возникших на почве неуверенности в себе, крайнее выражение погубленных и утраченных инстинктов.

Среди всех этих юристов, журналистов, учителей, художников и техников стараются не замечать одного типа, наиболее рокового из всех – опустившегося священника. Забывают глубокое различие между религией и церковью. Религия – это личное отношение к силам окружающего мира, выражающееся в мировоззрении, благочестивых обычаях и самоотверженном поведении. Церковь – это организация священников для борьбы за мирскую власть. Она создает формы религиозной жизни и тем самым зависимость от своей власти тех людей, что связаны с ними. Поэтому она является прирожденным врагом всех других властных образований: государства, сословия, нации <...>

В своей глубочайшей основе все молодые секты враждебно настроены по отношению к государству и собственности, они выступают против сословий и иерархий, за всеобщее равенство. Политика постаревших церквей, какими бы консервативными они ни были по отношению к самим себе, всегда испытывает искушение стать либеральной, демократической, социалистической, то есть уравнительной и разрушительной, как только начинается борьба между традицией и сбродом.

Все священники люди, поэтому судьба церкви зависит от человеческого материала, из которого она состоит. Даже строгий отбор, – как правило, превосходный – не может предотвратить того, что во времена общественного распада и революционного разрушения всех старых форм нередко верх берут пошлые инстинкты и пошлое мышление. В такие времена возникает церковный сброд, который подгоняет достоинство и веру церкви под грязь партийно-политических интересов, объединяется с разрушительными силами и, прикрываясь сентиментальными фразами о любви к ближнему и защите бедных, способствует разрушению общественного порядка, порядка, с которым церковь также навсегда связана судьбою. Религия есть душа верующих. Ценность церкви – в ее священниках. <...>

С 1815 года христианский священник все чаще становится демократом, социалистом и партийным политиком. Лютеранство, которое едва ли является церковью, и кальвинизм, который ею вовсе не является, как таковые, не проводили деструктивную политику. Это отдельные священники уходили «в народ» и рабочую партию, выступали на предвыборных собраниях и парламентах, писали о «социальном» вопросе и закончили демагогами и марксистами. Католический же священник, более тесно связанный с церковью, тащил ее за собой по этому пути. Она втягивалась в партийную агитацию, сначала как действенное средство, а в конце стала жертвой этой политики. Католическое профсоюзное движение с социалистическо-синдикалистскими тенденциями существовало во Франции уже при Наполеоне III. В Германии оно возникло после 1870 года из-за опасения, что красные профсоюзы полностью захватят власть над массами индустриальных районов. Вскоре они нашли взаимопонимание друг с другом. Все рабочие партии смутно понимают свою общность, хотя их вожди сильно ненавидят друг друга <...>

Фактически все коммунистические системы Западной Европы выросли из христианско-теологического мышления. «Утопия» Мора, «Город Солнца» доминиканца Кампанеллы, учения последователей Лютера Карлштадта и Томаса Мюнцера, государственный социализм Фихте. Все то, о чем мечтали и писали Фурье, Сен-Симон, Оуэн, Маркс и сотни других, в значительной мере возникает вопреки знанию и воле из священнического морального негодования и схоластических понятий, которые скрытно использовались в политэкономической мысли и общественном мнении по социальным вопросам. Сколько от естественного права и понятия государства Фомы Аквинского еще присутствует у Адама Смита и тем самым с обратный знаком – в «Коммунистическом манифесте»! Христианская теология является бабушкой большевизма. Любые абстрактные рассуждения об экономических понятиях вне экономического опыта, если их смело и честно довести до конца, каким-нибудь образом приводят к логическому заключению против государства и собственности <...>

Марксизм также является религией, не с точки зрения его творца, а в том смысле, который ему придала революционная свита. В нем есть свои святые, апостолы, мученики, отцы церкви, своя Библия и свое миссионерство. В нем есть догмы, суды над еретиками, ортодоксия и схоластика, но, прежде всего, народническая мораль, или точнее две – для верующих и неверующих, – как и в любой другой церкви. Большая ли разница в том, что его учение насквозь материалистично? Разве не менее материалистичны священники, которые с агитационными целями вторгаются в экономические вопросы? А что же такое христианские профсоюзы? Не что иное, как христианский большевизм <...>

Только «рабочий» может и должен быть эгоистом, но не крестьянин или ремесленник. Он один имеет права вместо обязанностей. Другие имеют только обязанности, но не права. Он является привилегированным сословием, которому другие должны прислуживать своим трудом. Экономическая жизнь наций существует ради него и должна

быть организована только для его удовольствия, и не важно, гибнет ли она при этом или нет. Это мировоззрение было разработано классом народных представителей из академического сброда – от литератора и профессора до священника. Оно деморализует нижние слои общества для того, чтобы мобилизовать их для утоления своей ненависти и жажды власти. Поэтому становятся неудобными и никогда не упоминаются такие (в отличие от Маркса) благородно и консервативно мыслящие социалисты, как Лассаль, приверженец монархии, и Жорж Сорель, считавший защиту Отечества, семьи и собственности первейшей задачей пролетариата, о котором Муссолини сказал, что обязан ему больше, чем Ницше.

Из всех видов теоретического социализма или коммунизма естественно победил наиболее пошлый и лживый в свои конечных целях, который совершенно бесцеремонно разрабатывался для того, чтобы обеспечить профессиональный революционером власть над массами. Не имеет значения называется ли он марксизмом или нет. Не важно и то, какая теория поставляет революционные лозунги для пропаганды или за какими неревolutionными мировоззрениями он скрывается. Речь идет только о практическом мышлении и воле <...>

Любой идеал создается теми, кто в нем нуждается. Идеал либеральной и большевистской классовой борьбы создан людьми, которые или безуспешно пытались достичь высшего общества, или жили в таком, до этических требований которого они не доросли. Маркс является неудачливым бюргером, отсюда его ненависть к буржуазии. То же относится и ко всем остальным юристам, писателям, профессорам и священникам: они выбрали профессии, к которым не имели призвания. Такова духовная предпосылка всех профессиональных революционеров.

Идеал классовой борьбы – вот пресловутый переворот: создание чего-то нового, а уничтожение существующего. Цель без будущего. Воля к пустоте. Утопические программы служат только для духовного подкупа масс. Всерьез воспринимается только цель этого подкупа – создание класса как боевого отряда посредством планомерного развращения. Ничто не сплачивает так, как ненависть <...>

«Капитализм» – это вовсе не форма хозяйства или «буржуазный» метод делать деньги. Это определенный взгляд на вещи <...>

Поэтому политэкономия до сегодняшних дней исходит из понятия цены и вместо экономической жизни и деятельных людей видит только товары и рынки. Поэтому, начиная с того времени, прежде всего, в социалистических теориях, труд рассматривается как товар, а заработная плата – как его цена. В этой системе не находится места ни руководящей работе предпринимателя и изобретателя, ни труду крестьян. Учитываются лишь фабричные товары, овес или свиньи. Не долго нужно было ждать, чтобы полностью забыли о крестьянах и ремесленниках и стали при разделении людей на классы, подобно Марксу, думать лишь о наемных рабочих и остальных – «эксплуататорах».

Так возникает искусственное раздвоение «человечества» на производителей и потребителей, которое в руках

теоретиков классовой борьбы видоизменяется в коварное противоречие между капиталистами и пролетариями, буржуазией и рабочим классом, эксплуататорами и эксплуатируемыми. При этом замалчивают торговца, собственно «капиталиста». Фабрикант и сельский хозяин – видимый враг, так как на него работают, и он за это платит. Бесмысленно, но действительно. Тупость теории никогда не была препятствием для ее действительности. У создателя системы речь идет о критике, у верующего – всегда о противоположном.

«Капитализм» и «социализм» одинакового возраста, внутренне родственны, появились из одной и той же перспективы и отягощены одними и теми же тенденциями. Социализм – это не что иное, как капитализм низшего класса <...>

Но обе теории сегодня устарели. Все, что можно было сказать, уже сказано; и после 1918 года они настолько скомпрометировали себя предсказаниями – в направлении Нью-Йорка или Москвы – что их еще цитируют, но в них уже не верят. Мировая революция начиналась в их тени. Возможно, сегодня она достигла своего пика, но все еще не завершена, между тем она принимает формы, свободные от всякой теоретической болтовни.

Глава 15

Теперь можно указать на «успехи» мировой революции, достигнутые на сегодняшний момент. Она приблизилась к своей цели. Она уже не угрожает; она празднует триумф, она победила <...>

Но кто же все-таки одержал победу в мировой войне? Конечно же, ни одно государство – ни Франция, ни Англия, ни Америка. И не белые рабочие. Они больше всего заплатили за нее, сначала кровью на полях сражений, а затем и жизнью в условиях экономического кризиса. Они стали самой большой жертвой своих вождей, погубивших их в своих целях. Войну выиграл рабочий вождь. То, что во всех странах называется рабочей партией или профсоюзом, в действительности является профсоюзом партийных чиновников, бюрократией революции, захватившей власть и управляющей сегодня западной цивилизацией. Она вела «пролетариат» от одной забастовки к другой, от одной уличной схватки к другой, и сама продвигалась от одного опустошительного парламентского постановления к другому благодаря собственной власти или из-за страха перед побежденной буржуазией. После 1916 года правительства всего мира быстро попали в зависимость от рабочих вождей и должны были выполнять их приказы, если не хотели быть свергнутыми. Они были вынуждены терпеть или сами осуществлять безжалостное вмешательство в структуру и смысл экономической жизни. А оно осуществлялось целиком в пользу труда низшего уровня, простейшего ручного труда, в форме безмерного повышения его оплаты и сокращения рабочего времени, а также в форме разорительных налогов на оплату труда управленцев, налогов на старую семейную собственность, на ремесло и сельское хозяйство. Общество было ограблено. Это было сделано для оплаты наемников классовой борьбы <...>

Но разве это не стало действительностью? Даже если совершенно отбросить Москву, разве профсоюзная республика в Германии была чем-то иным? И разве не является экономический, бюрократически управляемый социализм господствующим идеалом национальных рабочих партий Германии, Англии и даже Италии? И разве не лежат на развалинах мировой экономики творческие дарования, носители частных экономических инициатив, ставшие жертвой этой диктатуры? Знарок экономической жизни, хозяйственник был вытеснен партийным вождем, который, ничего не понимая в политике, хорошо разбирается в демагогической пропаганде. В качестве бюрократа он распоряжается экономическим законодательством, которое пришло на смену свободному решению экономической мысли, и руководит бесчисленными комитетами, арбитражными судами, конференциями, министерскими бюро, как бы ни назывались формы его диктатуры, – даже фашистским министерством корпораций. Он стремится в экономике к государственному капитализму без частной инициативы, к плановому хозяйству, что в принципе означает одно и то же, а именно – коммунизм. Даже если вместе с предпринимателем пострадает сам рабочий, в любом случае профессиональный «вождь рабочих» получает в свои руки долгожданную власть и может осуществлять месть подонков в отношении людей, которые волею судьбы, одарившей их талантами и выдающимися способностями, были призваны смотреть на вещи сверху и руководить <...>

Это происходило с использованием стачки как средства борьбы в скрытой, медленно действующей форме. Она обрела смысл только тогда, когда цена за «товар», недельная зарплата, не только не сократилась, но стала постоянно увеличиваться. Теперь «стоимость», то есть реальная стоимость вложенного работником труда не является самостоятельной величиной <...>

Но это означает дальнейшее обременение высшего труда нации в пользу низшего. И эта часть политической заработной платы выплачивается рабочему классу непосредственно или через налоги «других»: страхование всех видов от судьбы, строительство жилья для рабочих (хотя никому не придет в голову потребовать того же самого для крестьян), строительство игровых площадок, домов отдыха, библиотек, забота о льготных ценах на продукты питания, дорожные билеты и развлечения. Именно это составляет очень значительную часть политической заработной платы, о которой стараются не думать. Между тем, национальное богатство, на размер которого, выраженный в цифрах, ссылаются, является народнохозяйственной фикцией <...>

Глава 16

Существует высший и низший труд, и этот факт невозможно отрицать или изменить; в нем заявляет о себе культура. Чем выше развивается та или иная культура, тем мощнее ее формообразующая сила, тем значительнее разница между определяющей и подчиненной деятельностью любого вида, политического, экономического или ху-

дожественного. Ибо культура есть оформленная, одухотворенная жизнь, вызревающая и завершающая себя форма, обладание которой всегда предполагает высший уровень личности <...>

Общий объем труда, выполняемого европейской культурой и идентичного с ней, увеличивается с каждым столетием. Ко времени Реформации он увеличился во много раз по сравнению с эпохой крестовых походов, а в XVIII веке вырос до огромных размеров, ибо соответствовал динамике творческой руководящей работы, требующей все большего объема простого массового труда. Именно поэтому пролетарский революционер, который смотрит на культуру снизу, не обладая ею, стремится ее уничтожить, чтобы сократить как качественный труд, так и труд вообще. Если больше не существует человека культуры, которого считают роскошью и просто излишеством, то остается только простой труд, выполнить который сможет каждый. В одной социалистической газете я однажды прочитал, что вслед за денежными миллионерами нужно уничтожить миллионеров интеллектуальных. Подлинно творческая работа раздражает людей, они ненавидят ее превосходство, завидуют ее успехам, заключаются ли они во власти или в богатстве. Для них уборщица в больнице важнее главного врача, сельский батрак важнее фермера, выводящего новые сорта пшеницы и породы коров, истопник важнее изобретателя машины. Говоря словами Ницше, произошла переоценка экономических ценностей, а поскольку любая ценность в глазах масс выражается в деньгах и оплате, то массовый низший труд должен оплачиваться лучше, чем высший труд ведущих личностей, что и было сделано <...>

Но вульгарная роскошь больших городов – мало работы, много денег, еще больше удовольствий – оказывает роковое воздействие на занятых тяжелым трудом и не имеющих больших запросов людей из провинции. Они привозят оттуда потребности, о которых их отцы не могли даже мечтать. Тяжело отказать себе в чем-либо, если перед глазами видишь противоположность. Так началось бегство из деревни, сначала батраков и батрачек, затем крестьянских сыновей, а в конце уже целых семей, не знавших, что делать с отцовским наследством в условиях подобного искажения экономической жизни. На данной ступени развития подобное происходило во всех культурах. Неверно полагать, что Италия, начиная со времени Ганнибала, обезлюдела из-за крупного землевладения. Это сделали «*panem et circenses*» мирового города Рима, и уже обезлюдевшая и обесцененная земля привела к развитию латифундий с использованием рабов. Иначе бы она превратилась в пустыню. Опустение деревень началось в 1840 году в Англии в 1880 году в Германии, в 1920 году на Среднем Западе Соединенных Штатов. Крестьянину надоела работа без оплаты, в то время как город обещал ему заработок без работы. Тогда он уходил и становился «пролетарием» <...>.

Но разве можно было вообще продолжать выплачивать эту заработную плату, ставшую независимой от экономики величиной? Да и откуда? За чей счет? При внимательном рассмотрении видно, что в результате вымогательства заработной платы незаметно изменилось представление о доходах от экономики. Только здоровая хозяйственная жизнь способна приносить плоды. Доход является естественным, пока оплата простого труда зависит от него в ка-

честве функции. Как только заработная плата становится независимой – политической – величиной, бесконечным кровопусканием, которого не вынесет ни одно живое тело, тогда начинается искусственный, болезненный способ ведения хозяйства и его учета, соревнование между сбытом, который не должен сокращаться, чтобы совсем не разориться и не погибнуть, и опережающими его заработной платой, налогами и социальными отчислениями, которые также являются косвенной оплатой труда. Бешеный темп роста производства в значительной мере обусловлен этой скрытой раной, нанесенной экономической жизни. Реклама всеми средствами пытается создать новые потребности; экспорт расширяется всеми мыслимыми способами и навязывается цветным народам. Экономический империализм крупных индустриальных государств, с помощью военных средств гарантирующий рынки сбыта и стремящийся их удержать, в своей интенсивности определяется и вызван инстинктом самосохранения хозяйственников, которые вынуждены защищаться от постоянного давления рабочих партий в области оплаты труда. Как только где-нибудь в мире «белых» промышленность получает реальную или мнимую передышку, тотчас же раздаются требования повышения оплаты труда со стороны профсоюзов, пытающихся обеспечить своим членам прибыль, которой на самом деле нет <...>

Глава 17

Уже около 1900 года опасность была чудовищной. Здание «белой» промышленности было уже подорвано. Ему грозило обрушение при первом же всемирно-историческом потрясении – из-за давления политической заработной платы, сокращения продолжительности труда, насыщения всех чужих рынков сбыта, возникновения новых промышленных районов, независимых от белых рабочих партий. Только невероятное мирное состояние, после 1870 года распространившееся по всему «белому» миру из-за страха политиков перед непредсказуемыми решениями, поддерживало всеобщее заблуждение относительно быстро надвигающейся катастрофы <...>

Затем пришла большая война, а вместе с ней и экономический крах белого мира, случившийся не из-за нее, а естественным образом. Он бы произошел и так, но медленнее, в менее ужасающих формах. Однако эта война с самого начала велась Англией, родиной практического рабочего социализма, против Германии, самой молодой державы, наиболее быстро развивающейся хозяйственной единицы с превосходящими формами, для того, чтобы экономически уничтожить противника и навсегда устранить в качестве конкурента на мировом рынке <...>

Тем не менее никто не решается увидеть подлинные причины и угрозы этой катастрофы. Белый мир управляется преимущественно дураками, – если вообще управляется. Вокруг больничной койки белой экономики стоят смешные авторитеты, которые смотрят в будущее не дальше одного года и спорят о мелочах, исходя из уже давно устаревших, «капиталистических» и «социалистических», узкоэкономических взглядов. В конце концов, трусость ослепляет <...>

Раздаются лозунги «устранения» безработицы, «создания рабочих мест» – то есть излишнего и бессмысленного

труда, так как в этих условиях не может быть необходимого прибыльного и осмысленного труда <...>

И, наконец, появляется последнее, отчаянное средство смертельно больных национальных экономик – автаркия. За этим громким словом на самом деле скрывается поведение умирающих животных – взаимное экономическое отгораживание посредством введения политическим путем защитных таможенных пошлин, бойкота, валютного эмбарго, запрещения экспорта, и всего того, что уже изобретено или что только предстоит изобрести для создания ситуации осажденной крепости, почти соответствующей настоящей войне <...>

Глава 18

Мировая революция еще не закончилась. Она будет продолжаться до середины, а возможно и до конца века. Она неумолимо движется вперед – навстречу своим крайним решениям <...>

Партия – это не просто устаревающая форма, она еще и покоится на уже устаревшей массовой идеологии, она смотрит на вещи снизу, она следует за мышлением большинства. Наконец, «левая» означает, прежде всего, недостаток уважения к собственности, хотя никакая другая раса не имеет такого сильного инстинкта к обладанию, как германская, так как из всех исторических рас она обладает самой сильной волей. Воля к собственности является нордическим смыслом жизни. Она господствует и творит всю нашу историю от завоевательных походов полумифических королей до современной формы семьи, которая умирает, если угасает идея собственности. У кого нет такого инстинкта, тот не обладает «расой» <...>

Наконец, здесь необходимо сказать решающее слово «пруссачестве» и «социализме» <...>

Но прусский стиль означает не только приоритет большой политики перед экономикой, ее дисциплинирование посредством сильного государства, что предполагает свободную инициативу частного предпринимательского духа. Меньше всего он означает партийную программную организацию и сверхорганизацию экономики, доходящую до устранения идеи собственности, которая именно у германских народов означает свободу экономической воли и право распоряжаться тем, что принадлежит тебе. «Дисциплинирование» – это обучение породистой лошади опытным наездником, а не втискивание живого тела экономики в планово-экономический корсет или превращение его в размеренно стучащую машину. Прусский – означает аристократический жизненный порядок, основанный на иерархии достижений. Прусский – это, прежде всего, безусловный приоритет внешней политики, успешного управления государством в мире государств, перед внутренней политикой, которая должна лишь поддерживать нацию в форме для решения этой задачи и которая становится бессмыслицей и преступлением, если начинает преследовать свои собственные, независимые от внешней политики, идеологические цели. В этом состоит слабость большинства революций, чьи вожди, выдвинувшиеся благодаря демагогии, не умеют делать ничего иного и потом не знают, как найти путь от партийного к государственному мышлению – подобно Дантону и Робеспьеру. Мирабо и Ленин умерли

государственному мышлению – подобно Дантону и Робеспьеру. Мирабо и Ленин умерли слишком рано, Муссолини повезло. Но будущее принадлежит великим людям фактов, после того как улучшатели мира, начиная с Руссо, расплылись по сцене мировой истории и исчезли без следа.

Наконец, прусский означает самодисциплинирующий характер, которым обладал Фридрих Великий, выразивший его фразой «первый слуга своего государства» <...>

Из этой идеи прусского бытия будет исходить окончательное преодоление всемирной революции. Других возможностей не существует <...>

Социализм в любом виде сегодня устарел точно так же, как и его исходные либеральные формы, как и все, что связано с партией и программой. Столетие культа рабочего – с 1840 по 1940 год – уходит в прошлое. Кто сегодня воспекает «рабочего», тот не понял время <...>

Подлинная, истинно-прусская верность – вот что больше всего необходимо миру в эпоху больших катастроф <...>

Цветная революция

Глава 19

Западной цивилизации в этом столетии будет угрожать не одна, а две всемирных революции огромного масштаба. Нам еще предстоит понять их истинный объем, глубину и последствия. Одна идет снизу, другая извне: классовая борьба и расовая борьба. Первая в большей части уже пройдена нами, даже если ее решающие удары, – например, в англо-американской зоне, – вероятно, еще только предстоят. Вторая со всей решительностью началась только во время мировой войны и сейчас очень быстро приобретает определенную направленность и форму. В следующие десятилетия обе будут проходить параллельно, возможно, что они объединятся: это будет тяжелейший кризис, через который белые народы – в единстве или разрозненно – должны пройти вместе, если они еще надеются на будущее <...>

В России в 1917 году одновременно разразились обе революции, белая и цветная. Первая – мелкая, городская, рабочий социализм с западной верой в партию и программу, революция литераторов, академических пролетариев и нигилистических подстрекателей типа Бакунина в единстве с отбросами больших городов, насквозь риторичная и литературная, – истребила петровское общество, в большинстве своем, западного происхождения и выдвинула на сцену буйный культ «рабочего». Машинная техника, которая так чужда и ненавистна русской душе, вдруг стала божеством и смыслом жизни. Однако снизу медленно, упорно, безмолвно, с верой в будущее, началась другая революция мужика, деревни – подлинно азиатский большевизм. Ее первым выражением стал вечный земельный голод крестьянина, который гнал солдат с фронта, чтобы участво-

вать в разделе земли. Рабочий социализм очень быстро распознал эту опасность. После первоначального союза он начал со всей ненавистью городских партий к крестьянству – неважно, либеральных или социалистических – вести борьбу против этого консервативного элемента, пережившего в истории все политические, социальные и хозяйственные образования городов. Он лишил крестьян собственности, фактически восстановил крепостное право и барщину, отмененные после 1862 года Александром II, и посредством враждебного и бюрократического управления – всякий социализм, переходя от теории к практике, быстро задыхается в бюрократии – загнал сельское хозяйство в такое состояние, что сегодня поля заброшены, от бывшего поголовья скота осталась ничтожная часть, а голод азиатского типа стал обычным состоянием, вынести которое может только слабовольная, рожденная для рабского существования раса.

Но «белый» большевизм здесь быстро исчезает. Сохраняется лишь марксистская маска, чтобы в Южной Азии, Африке и Америке поднять и возглавить восстание против белых держав. Новый азиатский слой правителей вытеснил прежний полузападный. Он снова расположился в виллах и дворцах вокруг Москвы, держит прислугу и уже позволяет себе варварскую роскошь в духе богатой добычи монгольских ханов XIV века. «Богатство» существует в новой форме, которая может описываться в пролетарских понятиях.

Произойдет возврат к крестьянской собственности, к частной собственности вообще, что не исключает факта крепостного права, – все это вполне возможно, так как власть уже принадлежит армии, а не гражданской «партии». Солдат – единственное существо в России, которое не голодает, и он знает, почему и как долго это продлится. Эта власть неуязвима извне вследствие географических размеров государства, но она сама атакует себя изнутри. Она имеет наемников и союзников по всему миру, которые рядятся в ее одежды. Ее сильнейшее оружие есть новая, революционная, истинно азиатская дипломатия, вместо переговоров ведущая торг, использующая пропаганду, убийства и восстания и при этом далеко превосходящая высокую дипломатию белых пародов. Несмотря на политизированных адвокатов и журналистов, та еще не совсем утратила старый аристократический стиль, идущий от Эскориала, последним большим представителем которого был Бисмарк.

Россия – госпожа Азии. Россия и есть Азия. Япония относится к ней только географически <...>

Эта цветная общепланетарная революция осуществляется в самых различных направлениях: национальных, экономических, социальных; скоро она открыто выступит против белых правительств колониальных империй (Индия) или своей собственной страны (Капская провинция), затем против белого господствующего слоя (Чили), против власти фунта или доллара, иностранной экономики в целом, против своего собственного финансового мира, поскольку он участвует в сделках с белыми (Китай), против собственной аристократии и монархии; к этому добавляются и религиозные мотивы: ненависть к христианству и вообще к любой форме духовенства и ортодоксии, к правам и обычаям, мировоззрению и морали. Но в глубине ... скрывается всюду одно и то же: ненависть к белой расе и безусловная воля к ее уничтожению. При этом неважно, способны ли древние уставшие цивилизации, такие как индийская или китайская, поддерживать порядок без чужого господства; речь идет

только о том, в состоянии ли они сбросить белое иго, а это так. Кто будет следующим господином среди цветных держав – Россия, Япония или великий авантюрист любого происхождения с толпой военных за собой, – решится позже или никогда. Древнеегипетская цивилизация, начиная с 1000 года до рождения Христа, сменила множество господ – ливийцев, ассирийцев, персов, греков, римлян, она уже не была способна к самоуправлению, но всегда готова к победоносному восстанию. И совершенно неважно, если из множества других целей осуществляется или может осуществиться только одна. Великий исторический вопрос состоит в том, удастся ли свергнуть господство белых держав или нет. На сей счет существует единодушие и решимость, которые заставляют задуматься. Какими силами обладает белый мир для духовного и материального сопротивления этой опасности?

Глава 20

Значительно меньшими, чем то кажется на первый взгляд. Белые народы устали от культуры. В огне высших форм и борьбе за внутреннее совершенство истощилась душевная субстанция <...>

Но когда здесь идет речь о расе, то она понимается не в том смысле, что сегодня в моде у антисемитов в Европе и Америке, то есть дарвинистском и материалистическом. Чистота расы – гротеск перед лицом того факта, что за тысячи лет смешались все племена и виды, и именно воинственные, то есть здоровые, имевшие большое будущее роды испокон веков с удовольствием принимали к себе чужака, если он «обладал расой», и было неважно, к какой расе он принадлежал. Кто слишком много говорит о расе, тот сам уже не обладает ею. Речь идет не о чистой, а о сильной расе, которую имеет в себе народ.

Она проявляется, прежде всего, в естественной, элементарной плодовитости, многодетности, которую историческая жизнь может использовать, не исчерпывая ее до конца. Бог, по известному выражению Фридриха Великого, всегда на стороне более сильных батальонов – это очевидно именно сегодня. С точки зрения расы, миллионы павших в мировой войне были лучшими из того, что имелось у белых народов, но раса подтверждает себя тем, как быстро она способна их заменить <...>

Но упадок белой семьи, это неизбежное проявление бытия в большом городе, сегодня распространяется и искажает «расу» наций <...>

Женская эмансипация времен Ибсена хочет не свободы от мужчины, а свободы от детей, от обязанностей по их воспитанию, а параллельно идущая мужская эмансипация – от обязанностей по отношению к семье, народу и государству. Вся специальная либерально-социалистическая литература сосредоточена на этом самоубийстве белой расы. То же самое происходило и в других цивилизациях.

Последствия очевидны. До сих пор цветные расы в мире численностью превышали белые в два раза. Но около 1930 года ежегодный прирост населения в России составил 4 миллиона, в Японии – 2 миллиона, а население Индии с 1921 по 1931 выросло на 34 миллиона. В Африке негры с их чудовищной плодовитостью размножаются еще быстрее, после того как туда

«прорвалась» европейская медицина и стала препятствовать жестокому естественному отбору. В противоположность этому, прирост населения в Германии и Италии составил менее полумиллиона человек, в Англии, где официально поддерживается ограничение рождаемости, – менее половины от этого, во Франции и среди первых поселенцев-янки прирост населения прекратился. Последние – господствовавшая до сих пор «раса» германского образца – быстро исчезают на протяжении десятилетий <...>

Известен факт, что значительные люди редко или почти никогда не были единственными детьми. Семьи с небольшим количеством детей угрожают не только количеству, но, прежде всего, качеству расы. Народ нуждается не только в наличии здоровой расы в самом себе, но и в отборе тех выдающихся, что возглавят его. Если имеющийся материал нигде не превышает средние показатели, становится невозможным отбор, который проводился в английской колониальной администрации, прусском офицерском корпусе и в католической церкви – когда неумолимо и без оглядки на деньги и происхождение учитывается только нравственная установка и поведение в трудных ситуациях. Сначала должен осуществляться отбор жизни; и только после этого возможен отбор в сословиях. Сильный род требует сильных родителей. Под строгостью форм старой культуры в крови должно быть что-то от варварства древнейших времен, которое вырывается наружу в трудные времена, чтобы выстоять и победить.

Это варварство есть то, что я называю сильной расой – вечно воинственное начало в таком виде хищника, как человек. Кажется, что его уже нет, но оно всегда находится в душе и готово к прыжку. Один сильный вызов -и враг уже побежден. Оно вымерло только там, где пацифизм поздних городов сваливает на поколения свою тину, усталое желание покоя любой ценой за исключением своей собственной жизни. Это – духовное саморазоружение вслед за телесным саморазоружением в виде бесплодия.

Почему же немецкий народ является самым неиспользованным в белом мире и почему на него можно возлагать самые большие надежды? Потому что его политическое прошлое не предоставило ему возможности израсходовать свою ценную кровь и свои большие дарования. Это естественная благодать в нашей жалкой истории с 1500 года. Она сэкономила на нас. Она сделала нас мечтателями и теоретиками в области большой политики ... но все это преодолимо <...>

Сегодня грядущая история поднимается над экономической необходимостью и внутривнутриполитическими идеалами. Сегодня в борьбу, борьбу за все или ничто, вступают стихийные силы самой жизни. Начальная форма цезаризма очень скоро станет определеннее, более осознанной и откровенной. Будут полностью отброшены маски из эпохи парламентского промежуточного состояния. Быстро забудутся все попытки уловить содержание будущего при помощи партий. Фашистские очертания этих десятилетий примут новые непредвиденные формы, также исчезнет национализм в его нынешнем виде. В качестве формообразующей силы останется только воинственный, «пруссский» дух, повсюду, не только в Германии. Судьба, некогда стужавшаяся в значительные формы и великие традиции будет творить историю в образе бесформенных отдельных сил. Легио-

ны Цезаря снова пробуждаются.

Сейчас, возможно, уже в этом столетии, последние решения ждут своего героя. Перед ними распадаются в прах мелкие цели и понятия сегодняшней политики. Чей меч одержит теперь победу, тот и будет господином мира. Перед нами лежат кости для чудовищной игры. Кто осмелится бросить их?

<http://hist.pstgu.ru/>